

вызваны отнюдь не литературным делячеством авторов, расчетом или стремлением подладиться к конъюнктуре. Молодые уральские прозаики производят впечатление честных и добросовестных по отношению к своему ремеслу. Поэтому отнесем пока их неудачи к болезням роста.

О первом номере «Урала» вполне можно говорить как о репрезентативном для сегодняшней молодой прозы, достаточно верно показывающем и ее тематику и направления художественных поисков, ее достижения и срывы. В этом убеждает складывающийся на глазах определенный литературный контекст, отвлекаясь от достоинств и недостатков его слагаемых, я назвал бы здесь прозу Владимира Рекшана и Аркадия Бартова в «Неве», ленинградский сборник прозы и поэзии «Круг», рассказы Нины Горлановой в том же «Урале»,

не замеченную в свое время критикой повесть Бориса Агеева «Третий» и ряд других публикаций. Возможно, что эта молодая литература кого-то и разочарует, возможно, от нее ожидалось больше глубины, блеска, значительности. Но что делать, для того чтобы мускул был крепок и здоров, он должен быть в постоянной работе. Писание же в стол (а именно в таком положении созревали многие из упомянутых здесь писателей) — вряд ли нормальное условие для развития таланта. Для полноценного творчества необходим слушатель, читатель. Нужен диалог молодой литературы с обществом. Теперь читатель у молодых появился. Появилась возможность диалога. Будем надеяться, что он окажется плодотворным.

Сергей КОСТЫРКО.



## ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ ВЕРЛИБРА

Вячеслав Куприянов. Эхо. Стихотворения. М. «Современник». 1988.  
157 стр.

**М**ы говорим спаси-бо(г) — получая всего лишь навсего билетик в автобусе, благо-дарю — в ответ на какой-нибудь не меньший пустяк, целую — и восстанавливаем целостность, исцеляем. Даже и в бытовых, стертых, на каждый день словах бушуют могучие энергии.

Мы говорим угрызения совести (угрызла!), извините (выпустите из вины!) — какая горестная сила раскаяния сквозит в неуклюжей грации такого словостроения!

Такова воля родного языка, его детски прекрасный разум, подсказывающий — как жить.

Но повседневный массовый рассудок давно разошелся с разумом языка. Язык нам давно уже не учитель. Кто поможет воссоединиться человеку со словом? Конечно, поэзия! Ведь это поэт открывает в словах тайные люки и выводит нас к таким мирам, где мороз и солнце — день чудесный! — всегда, навеки.

Но и поэзии и слову надо учиться. А может быть, и переучиваться. Тут даже и азбучные открытия и повторения пройденного могут оказаться в пору.

Река речь — читаем в последней книжке Вячеслава Куприянова. И действительно радуемся этому «верлибру» из двух слов, как бы узнавших, открывшихся друг

другу и друг в друге. Какие вихри проносятся между ними!

### РЕКА РЕЧЬ

### РЕЧЬ РЕКА

Речь — текучая стихия языка. «А з реку», — говорит пророк и превращается в... реку... То же, кстати, и в забытых стихах Василия Кирилловича Тредиаковского:

Вонми, о! небо, и реку,  
Земля да слышит уст глаголы:  
Как дождь я словом потеку;  
И снидут, как роса к цветку,  
Мои вещания на доли.

Реку у Тредиаковского — и есть небесная река, снисшедшая на доли, ливень творчества, проливающийся на мир, на природу — ради ее преображения.

Связь мудрости, речи и стихии воды, жизни, явленная в самих созвучиях река речь, не может быть исчерпана никакой логикой. Тут тайна живого языка. Могучая система русского корнесловия, укорененная как бы в другой действительности, знает куда больше, чем мы. После десятилетий яростной борьбы со словом обществу и государству следовало бы смиренно сесть за парту, не гнушаясь и самыми скромными уроками, о которых мы и пытаемся вести здесь речь.

Ушам, забитым машинным грохотом и громыханием барабанных слов, к примеру, было бы полезно услышать, что



вот трава: иван-чай,  
звучит почти по-китайски,  
а вот по-японски: осока,—

что слова «устья» и «уста» однозвучны, что в них поет идея слияния. Устье — место слияния с морем, а уста — с миром: через поцелуй и речь.

Но все это как бы подготовка к верлибру, что-то вроде разминки...

Верлибр — безрифменный стих с его назывательной, безмузыкальной манерой как бы выводится из реальностей XX века. Струна лопнула — стихи (стихия!) распались на слова. Кажется, что судорога прошла по мирам искусства, исказив его традиционные привычные формы. Авангардная живопись начала века констатирует эту идею распада как нельзя лучше.

Все это так, трижды так! Если бы не одно обстоятельство. Оно в том, что верлибр существовал всегда, до всякого модернизма, до всякой «капитуляции» искусства перед разрушительными энергиями XX века.

Верлибр можно назвать поэзией самого слова — не преображенного, а сокровенного, где все первоначальные смыслы мощно и тайно присутствуют. Даже бытовые реалии древних священных текстов (идеально-го верлибра) преисполнены глубочайших подразумеваний, и притом свежи, как в первый день:

Голубь возвратился к нему  
В вечернее время,  
И вот, свежий масличный лист  
Во рту у него;  
И Ной узнал,  
Что вода сошла с земли...

В спорах о современной верлибристике есть мнение, что верлибр — просто неполноценная поэзия: ни рифм, ни ритма. Но если традиционная поэзия дышит вместе с дыханием человека, ритмами его сердца, набегам морских волн — то есть дышит вместе с природой, то свободный стих как бы сверхприроден. Его ритмика — более таинственная.

То, что и музыка может обманывать и нести разрушение, знали еще со времен Одиссея: надо было залить воском уши, чтобы не слышать убийственного пения сладкозвучных сирен. Современный читатель поэзии не ведает о подобных предосторожностях — пустота, пропетая в рифму, беспрепятственно достигает его ушей.

Власть музыки над словом настолько может быть велика в традиционном стихе, что из нее вырастают — до преувеличенных, мнимых размеров — целые поэтические репутации. Темное по форме и ничтожное по сути, по своей приверженности

к ничто, — разве не попадали и мы под власть такого художнического обаяния, не очаровывались его мрачными тайнами и фантазиями, спущенными на поток, но пропетыми столь неожиданно и дерзко-певуче, что и далеко не глупые люди кинулись разгадывать их?

Двойственной, двоящейся магии музыки свободное стихосложение противостоит как сама твердыня — смысла, слова. Верлибр и есть слово — одинокое, ничем не поддержанное: самостоянье слова.

Видеть в верлибре только странного гостя на нашей земле — чужеродного и бесталанного — мне кажется не слишком основательным. У нас столько же прав на верлибр, сколько и у любого другого языка, у любой другой культуры. Верлибр — серьезное испытание для поэзии, для ее духа. Отказываться от этого испытания — все равно что закупоривать живые сосуды, мешать кровообращению литературы.

Разве свободное стихосложение не в стихии народной словесности? В очерке старинного крестьянского бытописателя Василия Васильевича Селиванова («Год русского земледельца». 1856) находим замечательный образец народного плача:

Родимой ты сударь мой батюшка!  
Погости ты у меня последний часок,  
Последнюю минуточку!  
Снажи ты мне, батюшка, отколь тебя ждать  
будем?

Где дожидаться?  
Где мне с тобой будет повидаться?..

Кто научил этого безымянного автора... писать верлибром? Неужели «новейшие» французские поэты начала XX века?

В подобных причитаниях, пишет В. Селиванов, выражения «не подготовляются и не обдумываются заранее, а выливаются прямо из груди, мгновенно связанные мыслию...» (разрядка моя. — М. Б.).

Любопытно, что у В. Куприянова есть похожее стихотворение:

...напиши нам хоть одно послание  
из-за той кромки,  
по которой мы еще ходим,  
расскажи, как приняли тебя те,  
которые о тебе ничего не знали,  
но о которых мы еще помним  
и со странным чувством тоже с ними  
ждем неминуемой встречи...

Но знаменательно и различие. Рядом с устным верлибром в меру изысканная куприяновская ирония все же проигрывает. Судите сами. Там — гениальная наивность надежды на посмертную встречу буквально переходит... бездну. Ту, из которой и Пушкин черпал залоги бессмертия. Душа в этом



народном стихе кричит, казалось бы, в само небытие. Ведь это же не в уютном кабинете, не под лампой, не фантазирование, а перед настоящим гробом, перед реальностью смерти: «Где мне с тобой будет повидаться?» Где? Где? И в этой «бессмысленной» отваге не принимать очевидности уничтожения — «бессмертья, может быть, залог».

Такой наивной и почти благодатной глубины мы не найдем у современного стихотворца. Взаимоотношения с тем светом у него бумажные, письменные: напиши, мол, как там... От бездны он все-таки закрывается бумагой.

Но главные расхождения лежат в области отношения к слову.

Вера в слово, в его творящую силу и остроумное его использование, молитва и забава — это ли не крайности! Но это, можно сказать, и крайности самого русского верлибра, его реального бытования.

Народный стих о прощании — уже, если можно так выразиться, есть деяние словом; стихи эти тяготеют к молитве, которая всегда проистекает из веры в жизнестроительные и даже магические возможности слова. Стихотворение В. Куприянова — совсем другое: это литературная игра, где слово отнюдь не абсолютная реальность, а скорее средство.

Вот Икар, он же, по-видимому, средне-статистический человек, которого буквально окрылили, то есть дали наконец крылья, во исполнении известной мечты («чому я нэ сокил...»):

окрыленный  
я рухнул в море.  
Братья-птицы,  
простите  
братьев людей и рыб.

То же проделывается В. Куприяновым и со словом «озарение». Озарение, по Куприянову, — это результат перегрева головы, тугодумной и окваченной невозможными притязаниями («все время ждешь необычайной мысли, которая преобразит весь мир»).

Перелистывая книгу, мы с любопытством обнаруживаем другие игровые словесные комбинации, где, скажем, тот же самый речевой оборот о человеческих крыльях используется совсем по-другому и где его тривиальность присутствует, но в счет уже не берется. Перед нами стихи как бы однократного употребления, не связанные между собою. Единый мир личности пишущего здесь, конечно, не проявляется. Да и что же можно требовать от игры!

Эти, порою остроумные, словесные

опыты оставляют в конце концов невеселое чувство. Душа противится механике и приему, на которые, без преувеличения можно сказать, поставила сегодняшняя верлибристика.

Разве естественно, что верлибры, написанные в Тамбове, похожи на верлибры — переводы с английского, а верлибры с английского мало чем отличаются от верлибров с эстонского?

Все та же сомнамбулическая интонация, с одинаковым безразличием обрабатывающая любое содержание, сдобренная неприменной иронией, с добавками «сюра» или абсурда... Все это делается по одним рецептам и бесконечно, как бесконечна в своем вращении какая-нибудь гусеничная передача.

Есть, наверное (и непременно), счастливые исключения, но мы говорим о том, что слишком бросается в глаза, — о тенденции.

Но вот забавная диалектика: в свободном стихосложении, какое оно ни есть сегодня, язык проходит своеобразное очищение. Верлибр сам стал штампом, зато языковые штампы, стертости смыслов, бытовые, расхожие метафоры скорее выбраковываются здесь самую формую речи. В верлибре нельзя сказать: у меня упало сердце, — с тем чтобы сердце действительно не покатилося... Нельзя сесть кому-то на шею, порвать отношения, потому что все это как бы мгновенно овеществляется и осуществляется. Свободное стихосложение вольно или невольно — зона повышенной ответственности за слово.

В. Куприянов использует эту природу свободного стиха: он то запирает слова, замыкает их в парадоксе — как, например, в случаях с «окрыленностью» или с «озарением», то, наоборот, размыкает привычные связи слов, освобождает их от затертости, такие опыты кажутся мне куда интереснее: от них веет поэзией. Вот стихотворение под названием «Теория безответственности»:

Внезапные  
наплывы мглы,  
затмения  
умов,  
мрачный разгул  
черни —

все отступает  
перед благородным постоянством  
скорости

света.

Получается, что от века завещанное пророчество и задание о свете и тьме оживает даже в математической формуле. Физики назвали это теорией относитель-



ности — язык и поэзия опровергают их. Здесь уже не просто азбука верлибра, а куда более тонкая его природа — катарсис верлибра. Как бы мгновенное пробуждение, узнавание, прозрение.

Раздумывая о судьбе верлибра сегодня, нельзя не оглянуться назад, нельзя не вспомнить, что русский свободный стих знал мгновения настоящего творчества. Верлибры Хлебникова 20-х годов — погружение в гущу русского корнесловия и одновременный спуск в подземные миры времени:

Когда полет орла напишет над утесом  
Большие медленные брови,—

тогда на лице земли, исписанной цивилизациями, проступает другая азбука, непосильная для сегодняшнего человека, но знакомая и влекущая. Таков всего лишь один из

примеров глубины этой верлибристики, которая, по существу, есть целый суверенный континент свободного творчества.

Одних только верлибров Хлебникова хватило бы для оправдания чести свободного стиха. Но там еще и Блок, и Н. Рерих, и Мандельштам, и поразительный Волошин, чья прямая речь к Богу (свободные стихи 1915 года) — событие не менее, быть может, значительное, чем несравненная ода Державина.

Каждый из этих поэтов вошел в русло свободного стихосложения абсолютно своим, единственным путем. Их опыт еще раз подсказывает, что верлибр — не приемы и не профессия, а вольные непредсказуемые пути духа и слова.

Марина БОРЦЕВСКАЯ.



## БОСФОР, ЕВФРАТ И МОСКВА-РЕКА

От берегов Босфора до берегов Евфрата. Переводы, предисловие и комментарии С. С. Аверинцева. М. «Наука». 1987. 360 стр.  
Сергей Аверинцев. Попытки объясниться. Беседы о культуре. М. «Правда». 1988. 47 стр.

Тогда считать мы стали раны,  
Товарищей считать.

Что-то похожее на эту с детства памятную нам ситуацию из «Бородина» происходит и ныне: считаем раны, нанесенные отечественной культуре, считаем товарищей, многих из них недосчитываясь. И, возможно, пора намечать жутковатую типологию утрат и потерь, трагической бухгалтерией подзаяться. Разделов в ее гроссбухах наберется достаточно, и под каким-нибудь двузначным номером будет: утрачена была и традиция филологической мысли, филологического осмысления жизни, ибо и жизнь в каких-то ее аспектах должна становиться предметом филологического анализа; она говорит с нами, да еще и как говорит-то!

«Во тьму филологии влазьте», — незадолго до кончины взывал Маяковский. И жизнь продолжала разговаривать с его соотечественниками на языке неживой и живой природы, на языке архитектурных форм, научных открытий, меняющихся транспортных средств, вообще на языке структур, которыми люди себя окружают. Но влазить во тьму филологии никто не спешил. Напротив, один за другим следовали погромы: громили фольклористов, медиэвистов, лексикографов; формализм, в который все они

якобы впали, был приравнен к самым зловредным идеологическим ересям.

Но филология непостижимо жила. Жила сконфуженно как-то, словно стесняясь того, что она живет, неуместная, как прабабушкин резной секретер в современном офисе: и не нужен, и выбрасывать все-таки жалко. И жила она, уйдя в разрозненные труды, там и сям иногда появлявшиеся, притаившись в медиэвистике и в истории античных литератур: не так заметно, что она филология, к «формализму» предрасположенная.

Сергей Аверинцев долгие годы подвизался в роли, так сказать, академического тихони. Подхватив этот миф о себе, он и в новой, в публицистической, книге своей уверяет нас в том, что он-де «неисправимо кабинетный человек». Что ж, выходит, он затворник наподобие тех, о которых он повествует во многих своих исследованиях, и притом повествует, будто свидетельствуя о своих с ними встречах накоротке? Не думаю. К тому же и у затворников, насколько я знаю, порой иссякало терпение: улавливая веяния времени, они тем или иным образом на люди выходили, со всей мощью своего интеллекта ввязывались в мирские, в гражданские споры.

И в давнем трактате о Плутархе и в